

Белое, раннее...

В первое мгновение мне почудилось, что выросла она не на земле, а только что опустилась с воздуха. Как большая белая птица села на воду, еще на подлете мельком окинула заводь среди кустов сирени и, довольная и собой, и местом, начала укладывать еще чуть приподнятые крылья и охорашивать перышки, уверенная, что здесь она в полном уединении...

Именно в это мгновение я ее, кажется, и застал, выйдя на перекресток двух узких тропинок в глубине больничного сквера...

Весна только начиналась. Молодые почки, обсыпавшие ветки деревьев, уже пищали, как воробьи, набившиеся в кусты. Сухо, даже как-то особо строго, держались старые дубы. Словно метлы, воткнутые в землю черенками, стояли вдоль главной дорожки сквера подстриженные тополя...

Она же ослепительно светилась, так что я невольно зажмурился. Это было деревце черемухи...

Белые тяжелые гроздья облепили каждую ее веточку так, что ни листьев, ни самих веток почти совсем не было видно: словно это не дерево, а завиток метели, плеснувший в лицо. Я не разглядел на нем ни одного не распустившегося цветка, словно все они созрели в одно и то же время и по чьей-то команде мгновенно — не то чтобы распустились, — а как бы выплеснулись наружу, осыпав всю крону сразу...

Деревце было маленькое и внутри его будто бурлило. Казалось, если сжать ствол в руке, на коре появятся вмятины, а на пальцы выбрызнет сок, как из переспевшей груши...

Похоже было, что черемуха расцвела впервые и так обнаженно радовалась не знакомому ранее состоянию, что и смотреть на нее было неловко... И в таком же смущении, казалось, шептались между собой и соседние деревья, тревожно качаясь на ветру: «Ох, девонька, рановато ты вырядилась...»

Вдруг закачалась и черемуха, будто услышав этот шепот и почувствовав, что она не одна, что на нее уже давно смотрят, и заволновалась: и польщенная вниманием, и стесняющаяся, и ревниво оценивающая каждый взгляд, замеченный на себе, — мне показалось, как Наташа Ростова на первом в своей жизни балу... И ликовала, светясь на солнце белыми гроздьями... И вдруг, словно что-то осознав, замерла, как обнаженная купальщица, не зная, что делать — бежать ли быстрее в воду? или одеваться?.. И хотела будто сорваться с места, взлететь, или спрятаться?.. И, так и не решившись ни на что, прикрылась наспех схваченным платьицем и, чувствуя, что убежать поздно, да и некуда, растерянно замерла на открытом берегу...

И тогда отвернулся я.

Миссионеры

...Ежась, я пытался укрыться за телефонной будкой, не сразу заметив, что в ней со всех сторон выбиты стекла. Но больше спрятаться было негде и, втягивая голову в поднятый воротник куртки, я стоял на сквозняке, топчась под указателем остановки транспорта. Перед глазами мельтешили лица и жаркие, будто еще не остывшие кленовые листья, казалось, тоже искавшие укрытия...

Троллейбусов не было раздражающе долго, и я невольно оглядывался. Ветрено, пыльно и одиноко, как в чужой стране... Город, которому недавно вернули первоначальное название, был изрыт, обновлял фасады, соскребая многолетнюю копоть с крошившихся дворцов, менял вывески, обзаводился рекламой на заокеанский манер и, переваривая в очередной раз опять революционные перемены, выглядел утомленным... И в этой утомленности казался мне похожим на вельможу, промотавшегося в чужих краях... Еще будто помнившего себя во фраке, с имперскими орденами на лентах, в напудренном парике, с кружевными манжетами рубашек из дорогого голландского полотна, искавшего взглядом по старой привычке, с кем бы раскланяться... И озирался в недоумении, трагически усмехаясь...

Раскланяться было не с кем, даже и на Невском. Разве что с обнаженными девицами, замелькавшими почти в каждой витрине...

И сами горожане выглядели как-то растерянно, шли торопливо, словно убегая от чего-то, не зная куда, как река без берегов, иногда старательно чавкая жевательной резинкой...

Троллейбусов по-прежнему не было. Жалко усмехнувшись над своими мыслями, неуверенный в их справедливости, я опять поежился и опустил глаза на асфальт, безразлично разглядывая бежавшие по нему ноги...

Вдруг две из них отделились от потока, и пошли прямо на меня, потом неотчетливо, словно не в фокусе, появилось лицо молодого парня, которого я толком не разглядел: вроде прилично одетый, чистенький, в модной кепочке... И пачка газет небольшого формата, которая оказалась перед моими глазами...

— Возьми, почитай, — сказал парень почти жалеющим голосом и добавил, видя мое смущение: — Бери. Это бесплатно...

Брать газету мне не хотелось, в голосе парня была какая-то оскорбительная фальшь. Но быстро осознать это я не смог и стоял в нерешительности.

— Бесплатно же! Бери! — подчеркнуто повторил парень с легким иностранным акцентом,

«Бог дает надежду», — уже несколько раз прочел я слова, набранные на плотном глянцевом листе бумаги, но газету все-таки не брал. Фраза эта была обложена оранжевыми клеточками разных оттенков, и цвета эти излучали что-то ледяное, мертвое... А рядом как-то чрезмерно радостно улыбался изображенный на фото мужчина с гладеньким лицом,

видимо проповедник, в белоснежной рубашке с галстуком, откинута в сторону будто порывом ветра, также улыбалась из другого угла газеты бодрящая девица с микрофоном...

«Бог дает надежду» — снова прочел я и, сдерживая раздражение, невнятно возразил:

— Там, откуда приехала эта газетка, бесплатно и воды-то напиться не подадут... Да и как-то уж очень навязчиво, что ли? Стадионы, микрофоны... — А Слово что дыханье — тихое. Тихо оно и звучит громче Глубже...

И вдруг мне стало терзающе стыдно: и за свое поведение и перед этим парнем, и перед кем-то там, где пекутся о нас, может, искренне, хотя и не понимал, или понимал все по-своему, и я уже хотел было извиниться и взять газету, и даже пойти на стадион, куда она призывала идти. Но газету не взял, снова замолчав, и раздражаясь, и мучаясь.

А парень то ли плохо понимал по-русски, то ли не расслышал моих слов, опять повторил:

— Бесплатно же! Бери? Не бойся!

«Господи! — молча взмолился я. — Да что ты заладил: бесплатно, бесплатно. Будто деньги — самое главное. У Слова же денежного выражения нет, а ты заладил... Просил бы ты ради Христа, я б с тобой последним поделился. Мы сами выкарабкаемся, не пытайтесь нас переделывать. Так будет лучше для всех...»

Парень не отходил, держа протянутую мне газету, и, похоже, снисходительно улыбался...

— Спасибо, — наконец твердо сказал я. — Бог дает все, и мы об этом знаем уже тысячу лет. А на стадионах у нас играют в футбол. Правда, не очень хорошо. А молятся в другом месте. Без микрофонов. Спасибо...

Он резко повернулся, что-то раздраженно сказав уже на ходу, и смеялся с толпой...

Наконец-то к остановке подошла целая вереница троллейбусов. Пропустив первые два, я вошел в третий, где было почти пусто. В него же несколькими остановками позже вошел и миссионер с пачкой газет, заметно уменьшившейся. Остановился на подножке у передних дверей, окинул взглядом салон, кажется, явно узнав меня, сел впереди. И мы поехали вместе — в разные стороны...

Один

...Появление старика я ощутил раньше, чем увидел его, занятый просмотром записей в дорожном блокноте... Ощутил интуитивно, по изменившемуся поведению толпы, вывалившейся на привокзальную площадь по прибытии очередного поезда дальнего следования: толпа, будто вдруг раздраженно, заворчала: «Ну, что ты тут путаешься под ногами! Видишь,

все бегут, торопятся все!» И раздражение это сопровождалось, кажется, и молчаливой бранью, и обозленными взглядами в спину...

Старик чувствовал это, пытался уступить дорогу, когда обгонявшие цеплялись за мешок, висевший в его руке. Он перекладывал его в другую руку и виновато усмехался, но продолжал шагать неторопливо самостоятельно, не сбиваясь на общую суету, так что позади его невольно образовался узкий коридорчик, словно борозда за плугом...

Он был высокого роста, сухощавый, ссутулившийся, в сером выцветшем, как фуфайка, восточном халате и в чалме. Судя по узкому разрезу глаз на выжженном солнцем лице, старик был то ли пастухом-кочевником, то ли земледельцем. Шел он, старчески щурясь, и что-то искал взглядом по сторонам...

Наконец остановился перед маленьким газоном, покрытом желтой травкой, сухой, как лишайники... Остановился в нерешительности, посмотрел на пыльные кирзовые сапоги и, когда по газону протопала кучка юнцов с оравшим магнитофоном, тоже шагнул на травку...

Опустив на землю мешок, он оглядел небо, наглухо задернутое безликой мутью, за которой будто вовсе не было солнца, и, развязав мешок, вынул из него пол-литровую бутылку.

Пробка была свернута из газетной бумаги, он вынул её зубами, полил на руки, отер лицо, постелил вынутый из того же мешка домотканый коврик, похожий на половичок в северных избах, и опустился на колени... Подняв голову лицом вверх, старик скользнул по лицу ладонями и замер, едва заметно шевеля губами. Потом уткнулся лицом в землю...

Вокруг старика установилась какая-то особая плотность воздуха, и об него будто спотыкались еще на расстоянии. На мгновение в людях словно просыпалось воспоминание о чем-то первородном, с пробуждением которого они не могли справиться быстро, на ходу и, спотыкаясь, в недоумении оббегали старика, переглядывались между собой, выдавливая на лицах то снисходительную ухмылку, то презрение, и уходили, выказывая друг другу и чувство превосходства, и сожаление, и озадаченность...

Старик молился отрешенно и напоминал камень, выступавший из воды. Площадь постепенно пустела, придавленная липкой мглой, павшей на астраханскую степь, и выглядела изнемогающей от духоты, как перед обмороком. Лишь около вокзального здания продолжали роиться кучки цыган, мелких жуликов, бездельников и одиноких пассажиров вроде меня, ожидавших своего поезда; валялись обрывки бумажек, окурки, раздавленные бумажные стаканчики с подтеками растаявшего мороженого, да еще продолжал висеть в воздухе разноязыкий гвалт и мелкая пыльца, не успевшая опуститься на асфальт, по которому будто только что прогнали стадо баранов...

И, казалось мне, что откуда-то издалека доносились вязнувшие в барханах звуки верблюжьего каравана, взлаивание сторожевых овчарок и стенающий голос муэдзина...

Потом объявили посадку на поезд Астрахань — Москва...